

Глава 3

Чужаки

Из предыдущих глав мы знаем, что “мы” и “они” имеют смысл только в паре — в противопоставлении (оппозиции) друг другу. Мы — это “мы” лишь постольку, поскольку есть люди, отличные от нас, т.е. “они”; и они сплочены, образуют группу, единое целое только потому, что каждый из них обладает общей характеристикой: никто из них не является “одним из нас”. Оба понятия получают свое значение от разделяющей их и сформированной ими границы. Без этого различия, не имея возможности противопоставить себя “им”, мы не смогли бы придать смысл своей собственной идентичности.

“Чужаки” же, наоборот, отвергают подобное разделение, они, если можно так сказать, противостоят противопоставлению как таковому, т.е. разного рода различиям, границам, устанавливающим их, и тем самым — определенности социального мира, проистекающей из этих различий. Но именно в том и заключаются их значение, смысл и роль в социальной жизни. Одним лишь своим существованием, не вписывающимся ни в одну из установленных категорий, чужаки отрицают всякую обоснованность общепринятых противопоставлений. Они отвергают “естественный” характер противопоставления, раскрывают его произвольность и ненадежность. Они показывают истинный смысл разделений, которые есть не что иное, как воображаемые линии — их можно зачеркнуть и провести заново.

Во избежание путаницы с самого начала заметим, что “чужак” — не просто *незнакомец*, т.е. человек, которого мы плохо знаем или не знаем вообще. Скорее всего, справедливо обратное: отличительной чертой чужаков является как раз то, что мы по большей мере их *знаем*; чтобы распознать в человеке чужака, я должен уже хоть что-то о нем знать. Более того, они вынуждены время от времени непрошено появляться в поле моего зрения, чтобы я мог рассмотреть их вблизи; хочу я того или нет, они прочно обосновываются в обитаемом мною мире и не собираются покидать его. Если бы не это обстоятельство, то они были бы не “чужаками”, а просто “никем”: они растворились бы среди множества безликих, взаимозаменяемых фигур, движущихся на фоне моей повседневной жизни (как правило, не навязчиво, не привлекая к себе и не задерживая моего внимания). Я смотрю на них и не вижу их; слушаю и не слышу, что они говорят. Другое дело “чужаки” — их я вижу и слышу. Именно потому, что я замечаю их присутствие, я не могу их игнорировать, не могу отмахнуться от их присутствия, просто не обращая на них внимания, мне трудно осмыслить их существо. Они, как водится, не близки мне и не далеки от меня; не принадлежат ни к “ним”, ни к “нам”; это и не друзья, и не враги. Поэтому они становятся причиной путаницы и беспокойства. Я не знаю точно, как я должен вести себя с ними, чего ждать от них, как с ними поступать.

Проводить границы как можно точнее и четче, так, чтобы их без труда можно было заметить, а заметив, усвоить однозначно, — вот дело первостепенной важности для людей, живущих и обжившихся в обитаемом мире. Все приобретенные навыки социальной жизни оказались бы бесполезными и даже вредными, а то и просто самоубийственными, если бы четко обозначенные границы не подавали нам безошибочный сигнал о том, чего можно ожидать и какую модель поведения выбирать для достижения такой бы то ни было цели. И все же эти границы всегда конвенциональны (условны). Люди по обе ее стороны не столь резко отличаются друг от друга, чтобы предотвратить возможность ошибочных классификаций. Поэтому требуется постоянное усилие для поддержания деления на “черное” и “белое” в реальности, где нет никаких резких, безукоризненных линий-разделителей. Например, установление разграничения между ситуациями, когда следует

руководствоваться законами человеческого общежития, а когда призывать к войне, всегда будет попыткой придать надуманную (а потому и ненадежную) ясность ситуации, которая не так уж четко обозначилась. Вряд ли когда-нибудь люди бывают “прямо и полностью противоположны” друг другу. Если они различаются в чем-то одном, то непременно сходятся в другом. Сами по себе их различия редко бывают настолько очевидными и безусловными, чтобы их можно было отнести к противоположным категориям. Можно представить, как большинство человеческих свойств изменяется постепенно, гладко и почти незаметно. (Достаточно вспомнить предложенный Шутцем образ не имеющей естественных делений непрерывной линии (континуума), на которой расстояние между двумя людьми, обозначенными рядом, может быть бесконечно малым; очевидно, что любая граница, или точка прерывания, предполагающая распределение всех людей на линии по разные стороны от этой границы и обозначение их резко отличающимися, противоположными категориями, будет сколь произвольной, столь и сомнительной.) Человеческие качества пересекаются и постепенно меняются, поэтому любой водораздел неизбежно предполагает нечто вроде нейтральной “серой” полосы, оставляя на ней тех, относительно кого трудно сразу решить, в какую из противоположных групп их зачислить, учитывая проведенный водораздел. Эта нежелательная, но неизбежная двусмысленность воспринимается и как опасная, поскольку она запутывает ситуацию и чрезвычайно затрудняет надежный выбор отношений, соответствующих как внутригрупповому, так и внегрупповому контексту: выбрать установки на товарищескую кооперацию или на враждебную и настороженную сдержанность. С врагами мы воюем, друзей любим и привечаем, а что делать с теми, кто и не враг, и не друг? Или с теми, кто может быть и тем, и другим одновременно?

Социальный антрополог Мери Дуглас отмечает, что среди нескончаемых человеческих забот решающую роль играет задача вечно “скреплять” сотворенный человеком порядок. Ведь большинство различий, жизненно необходимых человеку, не возникают естественным образом, сами по себе, их нужно вводить и бдительно охранять. (Рассказывают, что в средние века подпольно распространялся рисунок, изображавший четыре черепа и сопровождавшийся надписью: “Угадай, какой из них принадлежал папе, какой — государю, какой — крестьянину, а какой — нищему”. Черепа, конечно же, были совершенно одинаковые; их полное сходство намекало на то, что все эти немислимые и непреодолимые различия, скажем, между принцем и нищим, заключаются лишь в том, что один носил на голове, а другой не носил, но отнюдь не в форме или размерах самой головы. Не удивительно, что рисунок ходил по рукам *подпольно*). Ради этой цели надо уменьшить или уничтожить вовсе ту двусмысленность, которая размывает границы и тем самым разрушает замысел, вождельный порядок, вносит путаницу туда, где должна быть ясность. Именно мое представление о желаемом порядке, мое понимание того, что ладно и прекрасно, побуждает меня противостоять этим двусмысленным явлениям реальности, не укладывающимся в существующие разграничения. Этот “мусор”, который я старательно пытаюсь вымести вон, есть просто нечто “неуместное”, нечто, не имеющее своего четко определенного места в моем видении мира. И дело даже не в том, что это явление “неправильно” само по себе, а в том, что оно обнаруживается там, где его не должно быть, что и делает его нежелательным и отталкивающим.

Вот несколько примеров. Некоторые растения мы считаем “сорняками”, безжалостно вытравляем и выкорчевываем их именно потому, что они угрожают стереть границу между нашим садом и дикой природой. Зачастую “сорняки” хороши на вид, благоуханны и привлекательны; мы, наверное, восхищались бы ими как прекрасными дикорастущими экземплярами, увидев их в лесу или в поле.

Вся “вина” их заключается в том, что они непрошеными гостями являются туда, где все должно быть аккуратно подстрижено и убрано, — на лужайку, в сад, на грядку или на цветочную клумбу. Они нарушают предустановленную нами гармонию, разрушают наш замысел. Нам нравится тарелка с едой на обеденном столе, но ее появление “не на месте” — на простыне или на подушке — вызвало бы отвращение по одной простой причине: это разрушает все устройство нашего дома, предполагающего, что два одинаковых пространства содержатся строго отдельно и предназначены для не совмещаемых нами функций: одно служит как спальня, а другое — как столовая. Даже самые элегантные, начищенные до блеска туфли, с гордостью надеваемые на ноги, покажутся “грязными”, если их водрузить на стол. То же можно сказать и о прядях волос или обрезках ногтей, хотя и волосы, и ногти обычно являются предметом нашей нежной заботы и гордости, пока они остаются принадлежностями нашего тела. Оказалось, что некоторые химические компании вынуждены были наклеивать совершенно разные этикетки на упаковки с одинаковыми моющими средствами, так как в ходе проведенных исследований было установлено, что наиболее щепетильным домохозяйкам и в голову не приходит пользоваться одним и тем же средством и в ванной комнате, и на кухне. Во всех подобных случаях то непомерное внимание, которое мы уделяем “борьбе за чистоту”, расставляя вещи по своим местам (где они “должны быть”), вызвано необходимостью блюсти чистоту и ясность границ между различиями, делающими наш мир упорядоченным, а тем самым пригодным и удобным для жизни.

Водораздел между внутригрупповыми и межгрупповыми различиями, между “нами” и “ними”, принадлежит к числу наиболее горячо отстаиваемых и требует к себе самого большого внимания. Можно сказать, что существование внешней группы не только полезно, но и неизбежно, необходимо для внутригрупповых отношений, поскольку подчеркивает тождественность группы, укрепляет ее сплоченность и совместимость. Но то же самое нельзя сказать о той бесформенной “серой” массе, расположенной *между* двумя группами. Считается, что она едва ли может приносить какую-нибудь пользу; в ней видят только вред без каких бы то ни было определений. Отсюда и излюбленный политиками, добивающимися популярности и поддержки путем мобилизации патриотических чувств или партийной сплоченности по принципу “Кто не с нами, тот против нас”. В столь категоричном разделении нет места промежуточной, нерешительной или просто естественной позиции. Если же допустить существование таких позиций, то это означало бы признать разделение между “правыми” и “неправыми” не настолько абсолютным, как предполагалось.

Многие политические партии, церковные, националистические, сектантские и т.п. организации тратят гораздо больше времени и сил на борьбу с собственными инакомыслящими, нежели с провозглашенными врагами. Вообще же предателей и отступников ненавидят гораздо сильнее, чем признанных, открытых врагов. Для националиста или воинствующего члена партии ни один враг не может быть столь презираем и ненавистен, как “один из нас” — перебежчик или тот, кто недостаточно громко осуждает врага; примиренчество осуждается гораздо сильнее, чем открытая враждебность. Все религии ненавидят своих еретиков больше, чем неверных, и преследуют их с большим рвением. “Раскалывание рядов”, “раскачивание лодки” и “перебегание от одной баррикады к другой” считаются самыми тяжкими из всех преступлений, в которых лидеры могут обвинить своих приверженцев. Такие обвинения обычно выдвигаются против людей, которые думают (или хуже того — говорят, а еще хуже — доказывают своими поступками), что разделение между их нацией, партией, церковью, движением и теми, кого называют врагом, не является абсолютным; против людей, которые считают, что взаимное понимание и даже соглашение возможно, или утверждают, что их собственная группа не так уж непорочна и сама по себе не может быть вне подозрений и всегда правой.

Опасность угрожает границе с двух сторон. Ее могут разлагать изнутри двуличные люди, заклеянные как дезертиры, подрывающие групповые ценности, нарушающие единство рядов, перевертыши. На границу могут покушаться и в конце концов разорвать ее извне те, кто, будучи “не такими, как мы”, требуют, чтобы с ними обращались так же, как с нами; те, кто покинул место, где они безошибочно определялись как чужаки, “не мы”, и теперь пребывают там, где их по ошибке можно принять за тех, кем они не являются. Совершая подобный “переход”, они тем самым демонстрируют, что граница, считавшаяся надежной и непроницаемой, далеко не герметична. Одного только этого греха было бы достаточно, чтобы возбудить негодование и желание возвратиться их туда, откуда они явились: один их вид вызывает чувство незащищенности, в них есть что-то, смутно ощущаемое как опасность. Нам кажется, что, снявшись с насиженного места и придя к нам, они совершили подвиг, но именно это заставляет нас подозревать, что они обладают какой-то ужасной, мистической силой, которую мы не можем отразить, хитростью, которую мы не в силах разгадать; мы вынуждены предполагать, что они замышляют что-то недоброе и могут использовать свое страшное превосходство в ущерб нам. В их присутствии мы чувствуем себя неуверенно; мы полусознательно ждем от них поступков опасных и отвратительных. Не случайно понятия “*неофит*” (недавно обращенный в нашу веру), “*нужорши*” (вчерашний бедняк, которому вдруг повезло, и сегодня он присоединился к богатым и могущественным), “*выскачка*” (занимавший низкую социальную позицию и быстро пробившийся к власти) отягощены бременем порицания, отвращения и презрения. Такими понятиями обозначают людей, которые еще вчера были “там”, а сегодня уже находятся “здесь”. Им нельзя доверять уже из-за самой их мобильности и необыкновенной способности быть и здесь и там по собственной воле: ведь они нарушили то, что должно оставаться незыблемым и непроницаемым. Этот первородный грех им нельзя ни забыть, ни отпустить; он никуда не денется.

Такие люди вызывают беспокойство и по другой причине. Они и в самом деле “*новички*”, не знакомые ни с нашим образом жизни, ни с нашими манерами и привычками. То, что нормально и естественно для нас, с рождения усвоивших этот образ жизни, для них странно и непостижимо. Для них смысл наших обычаев не является само собой разумеющимся, поэтому они задают вопросы, на которые мы не знаем, как отвечать, поскольку не видим в них смысла, и у нас никогда не возникало потребности задаваться вопросами типа: “Почему вы это делаете так?”, “Какой в этом смысл?”, “Не пробовали ли вы делать это иначе?” Сам образ нашей жизни, делающий ее для нас такой безопасной и уютной, ставится под сомнение, превращается в предмет для обсуждения, мы должны его обосновывать, объяснять, доказывать. Он уже не представляется столь самоочевидным, а потому и безопасным. Но утрата безопасности не так-то легко прощается. И вообще мы не склонны это прощать. Вот почему подобные вопросы мы расцениваем как нанесение обиды, споры — как ниспровержение самих основ нашего существования, а сравнения — как заносчивость и желание плюнуть нам в лицо. Мы сразу же стремимся сомкнуть ряды для “защиты нашей жизни” от наплыва чужаков, виновных во внезапно обнаружившемся кризисе уверенности. Наша неуверенность превращается в озлобленность против нарушителей спокойствия.

Даже если новички хранят молчание, что называется, держат язык за зубами и почтительно воздерживаются от нелепых вопросов, то и тогда сам стиль их повседневной жизни не может не поставить те же вопросы и с тем же обескураживающим результатом. Те, кто пришел оттуда сюда и решил остаться, захотят усвоить наш стиль жизни, подражать ему, стать “как мы”. Если не все, то большинство из них постараются обустроить свои жилища так, как мы, станут одеваться, как мы, будут копировать наш стиль работы и досуга. Они будут не только

говорить на нашем языке, но и отчаянно копировать нашу манеру речи и обращения друг к другу. Но как бы они ни старались (или как раз из-за чрезмерного усердия), они не смогут избежать ошибок, по крайней мере вначале. Их усилия неубедительны. Их поведение выглядит неуклюжим, нелепым и смешным; оно скорее подобно карикатуре на наше собственное поведение и потому заставляет нас задаваться вопросом: что, собственно, оно представляет собой в действительности. В их поведении чувствуется что-то ироничное. Мы стараемся откреститься от такого неумелого подражания, высмеивая их, издеваясь над ними, рассказываем про них анекдоты — “карикатуры на карикатуру”. Однако к этому смеху примешивается горечь, под маской веселости скрывается обеспокоенность. И как бы мы ни старались ограничить это зло, ущерб — налицо. Наши, обычно не осознаваемые нами, обычаи и привычки показаны нам в кривом зеркале. Мы были вынуждены посмотреть на них с иронией, отстраниться от своей собственной жизни. И уже не требуется никаких дополнительных вопросов — наш комфорт нарушен.

Как видим, есть достаточно причин, чтобы относиться к чужакам с подозрением, как к потенциально опасным. Они были бы относительно безобидными для нас, если бы вполне четко отличали себя от нас и оставались бы посторонними, согласившись с тем, что наша жизнь — для нас, а их жизнь — это их жизнь, и “вместе нам не сойтись”; если бы, другими словами, мы могли не обращать на них внимания, даже когда они появляются в поле нашего зрения. Но беспокойство катастрофически нарастает по мере того, как различия перестают быть такими четкими, как раньше, и теряют все больше ясность. То, что вначале, возможно, рассматривалось как объект для шуток и насмешек, теперь возбуждает враждебность и даже агрессивность.

Первая реакция — восстановить утраченную ясность различий, отправив чужаков обратно — туда, “откуда они явились” (т.е. если существует такая естественная обитель, которую они когда-то покинули; это относится прежде всего к этническим иммигрантам, приехавшим в надежде поселиться в новой стране). Порой предпринимаются попытки заставить их эмигрировать или сделать их существование настолько жалким, чтобы они сами предпочли исход как меньшее из зол. Но если эти попытки наталкиваются на сопротивление или массовое выселение не представляется по той или иной причине возможным, то может последовать геноцид; жестокая физическая расправа имеет целью сделать то, что не удалось сделать путем физического перемещения. Геноцид — самый крайний и отвратительный метод “восстановления порядка”, и все же недавняя история показывает с ужасающей очевидностью, что угроза геноцида не надуманна, что нельзя исключить его новые рецидивы, несмотря на его всеобщее осуждение и неприятие.

Как правило, избираются все же менее одиозные и радикальные решения рассматриваемой проблемы. Чаще всего используется разделение. Разделение может быть территориальным, духовным либо и тем и другим одновременно. Территориальное разделение нашло свое наиболее яркое воплощение в гетто и этнических резервациях, т.е. районах в городе или областях в стране, отведенных для заселения людьми, с которыми коренное население не желает смешиваться, рассматривая их как чуждый элемент и желая навсегда сохранить за ними этот статус. Было время, когда такое отведенное для чужаков место огораживалось стенами и более мощными перегородками в виде всевозможных запретительных законов (необходимость иметь специальный пропуск для того, чтобы выйти за пределы “обитания черных”, или запрет на приобретение недвижимости в районах, предназначенных для белых, — вот лишь два недавних, но, тем не менее, беспрецедентных примера из южноафриканского опыта), и чужакам запрещалось покидать пределы своей территории. Иногда перемещение внутри и вне пространства резервации по закону ненаказуемо и *de jure* свободно, но на практике жители

резервации не могут или не хотят покидать свое заточение либо потому, что за его пределами созданы невыносимые для них условия (их оскорбляют физически, над ними смеются и издеваются), либо потому, что тот жалкий уровень жизни, который им доступен в их допотопных кварталах, — единственное, что они могут себе позволить. Если же внешним обликом и манерами чужаки мало чем отличаются от коренных жителей, то им предписывается носить особое одеяние или какие-то другие бесчестящие их знаки, чтобы сделать различие видимым и исключить опасность случайной путаницы. Вместе с такими знаками, которые должны носить чужаки, они тем самым как бы носят с собой свое пространство обитания, куда бы ни пошли, если им разрешено перемещаться. А перемещаться им вынуждены были позволить, поскольку они зачастую выполняли пусть низкую и презируемую, но все же жизненно необходимую для коренного населения работу (как, например, евреи в средневековой Европе, предоставлявшие большую часть банковских кредитов и наличных займов).

В тех случаях, когда территориальное разделение оказывается неполным или в целом неосуществимым, возрастает значение духовного разделения. Взаимоотношения с чужаками ограничиваются рамками строго деловых связей; социальные контакты исключаются из желания предотвратить перерастание неизбежного физического сближения в духовное. Среди таких превентивных (предохранительных) мер самыми очевидными являются недоброжелательность или открытая враждебность. Барьер, воздвигаемый из предрассудков и злобы, зачастую оказывается гораздо более эффективным, чем самые толстые каменные стены. Стремление предотвратить всякие контакты с чужаками постоянно подогревается страхом подхватить какую-нибудь заразу в буквальном или переносном смысле: считается, что чужаки кишат паразитами — разносчиками заразных болезней; пренебрегают правилами гигиены и потому представляют опасность для здоровья; или их изображают распространителями вредных идей и привычек, которые обычно характерны для чернокнижников, или зловещих и кровавых культов, пропагандирующих моральную нечистоплотность и разнузданность. Озлобленность переносится на все, что только может ассоциироваться с чужаками: на их манеру говорить, одеваться, на религиозные обряды, образ их семейной жизни и даже запахи, которые, как кажется, исходит их тело.

Рассматриваемая до сих пор практика разделения предполагала простую ситуацию, когда есть “мы”, и нам надо защищаться от “них”, от тех, кто пришел, чтобы остаться среди “нас”, и не уйдет, даже если мы их попросим. Мы не обсуждали до сих пор то, как определяется принадлежность к каждой из групп, будто существуют единые стандарты для “нас” и для “них”, т.е. твердо установленные и самоочевидные для нас стандарты, которыми мы пользуемся постоянно. Однако легко заметить, что такого рода простые ситуации и предельно четкие задачи, порожаемые ими, вряд ли можно обнаружить в современном обществе. Общество, в котором мы живем, — городское: люди живут вплотную друг к другу, много передвигаются; выполняя свои повседневные дела, они вступают в самые различные пространства, населенные самыми разными людьми, переезжают из одного города в другой или из одной части города в другую. В течение дня мы встречаем так много людей, что не можем узнать их всех. И в большинстве случаев мы не можем быть уверены — разделяют они наши стандарты или нет. На каждом шагу нас поражают новые картины и звуки, которые мы не вполне понимаем; хуже того, у нас едва хватает времени остановиться, подумать, постараться что-то как следует понять. Мир, в котором мы живем, представляется нам в основном населенным чужаками; это *мир универсальной отчужденности*. Мы живем среди чужаков, для которых сами мы — чужаки. В таком мире нельзя чужаков запираť или держать в страхе, с ними надо уживаться.

Это не значит, что описанная выше практика разделения совсем не используется в новых условиях. Если взаимно отчужденные группы не могут быть полностью эффективно разделены, т.е. четко прочертить свои границы, то их взаимодействие все еще может быть ограничено (осуществляться нерегулярно и потому быть безобидным) практикой сегрегации, которая, однако, теперь должна быть изменена.

Для примера возьмем один из методов сегрегации, упоминавшийся ранее, — ношение четких, легко распознаваемых знаков групповой принадлежности. Такой указующий на принадлежность к группе внешний вид может быть предписан законом, и попытка “сойти за кого-нибудь другого” будет наказуема. Но этого можно добиться и без помощи закона. На протяжении почти всей истории городов, как известно, только богатые и привилегированные люди могли позволить себе роскошное, хорошо сшитое платье; приобрести его можно было, как правило, лишь там, где оно было сшито (всегда согласно местным обычаям), а нездешних людей всегда можно было легко отличить по наряду, нищете или нелепости их *внешнего вида*. Теперь же сделать это не так просто. Относительно дешевые копии превосходных платьев производятся в огромных количествах, их могут приобрести и носить люди относительно небольшого достатка (и, что еще важнее, может носить чуть ли не каждый). Более того, эти копии настолько искусно сделаны, что их трудно отличить от оригинала, особенно на расстоянии. Из-за широкой доступности любой моды одежда практически утратила свою традиционную функцию сегрегации, что, в свою очередь, изменило “социальный адрес” портняжных новшеств. Большинство из них теперь не связано с каким-либо определенным классом или группой: вскоре после своего появления они становятся доступными широкой публике. Мода также утратила свой локальный характер и стала поистине “экстерриториальной”, или космополитичной. Одни и те же или почти неразличимые платья можно приобрести в местах, отдаленных друг от друга. Теперь одежда скорее скрывает, нежели демонстрирует, территориальное происхождение и мобильность своих владельцев. Это не значит, что внешний облик и одежда не разделяют людей; наоборот, одежда играет роль одного из первичных символических средств, используемых для публичного заявления человеком о своей референтной группе и о том качестве, в котором он хотел бы быть воспринят другими. Это равносильно тому, как если бы я, выбирая одеяние, заявил всему миру: “Вот к какому сорту людей я принадлежу, и будьте любезны воспринимать меня таким и обращаться со мной соответствующим образом”. Следовательно, выбирая одежду, я могу давать любую информацию о себе, в том числе ложную; замаскировавшись, я могу выдать себя за кого-то другого, что мне не позволили бы сделать в другом случае; я могу, таким образом, не показывать (или, по крайней мере, скрыть до поры до времени) социально навязанный мне статус. Нельзя считать мое одеяние надежным показателем моей идентификации, как и я не могу верить в информативную ценность внешнего облика других людей. Они могут по своему желанию ввести меня в заблуждение: то надеть, то снять отделяемые от них символы, по которым я их различаю.

По мере того, как разделение *по внешнему виду* утрачивало свое практическое значение, возрастала роль разделения *по пространственному* признаку. Территория общего городского обитания постепенно подразделялась на районы, где вероятность встретить людей одного типа становилась гораздо выше, чем людей другого типа, или где маловероятно столкнуться с людьми определенного типа, и, таким образом, вероятность ошибиться в идентификации людей значительно уменьшается. Даже в специфических районах, куда доступ весьма ограничен, вы, находясь среди чужаков, можете с уверенностью утверждать, что все эти чужаки принадлежат примерно к одной категории людей (или, точнее, что большинство других категорий

исключается). Разделение по районам приобретает свою ценность для ориентации по методу *исключения*, или выборочного и поэтому ограниченного доступа.

Ложа в театре, швейцар, телохранитель — все это явные символы и средства, применяемые в таких случаях. Их наличие предполагает, что только избранным доступно то место, которое они охраняют и контролируют. Критерии отбора бывают разные. В случае с ложей в театре самым важным критерием являются деньги, хотя билет на входе могут и не принять, если человек не удовлетворяет некоторым другим требованиям, например, приличный костюм или “тот” цвет кожи. Швейцар и телохранитель определяют, “имеет ли право” данный человек войти туда, куда он захочет. Любой, кому разрешается войти, должен доказать свое право находиться внутри; причем весь груз доказательства ложится на того, кто хочет войти, а право решать, является ли это доказательство удовлетворительным, сосредоточено всецело в руках тех, кто контролирует вход. В результате установления права на вход создается ситуация, когда вход бывает заказан людям до тех пор, пока они остаются совершенными чужаками, т.е. до тех пор, пока они никак конкретно себя “не определяют”. Сам акт идентификации превращает безликого члена “серой”, беспорядочной массы чужаков в “конкретного человека”, в “человека со своим лицом”. Тем самым раздражающе непроницаемая завеса отчужденности хотя бы частично, но приподнимается, тогда как запретная территория, отгороженная охраняемыми воротами, совершенно свободна от чужаков. Каждый, вступающий на такую охраняемую территорию, может быть уверен, что все, кто на ней находится, до известной степени избавлены от присущей чужакам неопределенности и что кто-то позаботился, чтобы все “вхожие” были хотя бы в некоторых отношениях подобны друг другу и благодаря этому причислены к одной категории. Тем самым неопределенность, сопряженная с пребыванием в обществе людей, “которые могут быть кем угодно”, существенно уменьшается, хотя лишь на ограниченное время и в ограниченном пространстве.

Власть запрета на вход реализуется с той целью, чтобы обеспечить относительную однородность, недвусмысленность некоторых избранных пространств внутри плотно населенного урбанизированного и безличного мира. Мы все используем эту власть, правда, в несравнимо меньших масштабах, когда, например, печемся о том, чтобы в контролируемое пространство, называемое нашим домом, допускались только те, кого мы каким бы то ни было образом можем опознать; когда отказываем в этом “совершенно чужим”. И мы верим, что другие тоже используют свою власть в отношении нас и даже в большем масштабе. Таким образом, мы чувствуем себя относительно безопасно, в какие бы охраняемые пространства мы ни вступали. Как правило, день нашей жизни в городе делится на отрезки времени, проводимые в такого рода охраняемых пространствах и затрачиваемые на перемещения между ними (мы едем из дома на работу, в институт, в клуб, в ресторан или в концертный зал, а потом назад — домой). Между замкнутыми пространствами, обладающими способностью исключать “чужих”, простирается обширная область свободного входа, где каждый, или почти каждый, — чужак. В целом мы стараемся сократить время, проводимое в таких промежуточных областях, до минимума, если не удастся исключить его совсем (например, переезжая из одного строго охраняемого места в другое, мы полностью изолируемся от них в наглухо захлопнутой ракушке своей машины).

Таким образом можно отчасти сгладить наиболее неприятные стороны жизни среди чужаков или хотя бы сделать их на время менее раздражающими, но вряд ли можно избавиться от них вовсе. Несмотря на самые искусные методы различения, мы не можем полностью избежать тех людей, кто близок к нам физически, но далек духовно, кто живет среди нас, как непрошенный гость, и чей приход и уход мы не можем контролировать. В социальном же пространстве (которого мы никак не можем

избежать) мы ни на минуту не можем перестать замечать их. Эта бдительность обременительна для нас' она словно путы, сковывающие нашу свободу. Даже если мы уверены, что присутствие чужаков не таит в себе никакой опасности (хотя в этом мы никогда не можем быть твердо уверены), то все равно мы постоянно чувствуем на себе их пристальный, придирчивый, оценивающий взгляд, — в нашу “частную жизнь” вторгаются, нарушают ее обособленность. И если не наше тело, то наши достоинство, самооценка и даже самоидентификация становятся заложниками неких безликих людей, чьи суждения едва ли поддаются нашему влиянию. Что бы мы ни делали, мы постоянно должны заботиться о том, как наши действия скажутся на нашем образе, который складывается у наблюдателей. Пока мы находимся в поле их зрения, мы должны быть начеку. Все, что мы можем сделать, это не вызывать подозрения или, во всяком случае, не привлекать внимания.

Американский социолог Ирвинг Гофман считал общественное невнимание постоянно используемым приемом, делающим возможной нашу жизнь в городе среди чужаков. Общественное невнимание заключается в том, чтобы *притвориться* не видящим и не слышащим; или в том, чтобы по крайней мере принять позу не видящего и не слышащего и, что важнее всего, не интересующегося тем, что делают вокруг другие. Наиболее интригующе общественное невнимание проявляется в стремлении избежать контакта “с глазу на глаз”. (Встретиться глазами всегда означает пригласить к разговору более интимному, чем между чужими; это означает отказ от своего неотъемлемого права на анонимность, отступление или по крайней мере ограничение его и решимости оставаться невидимым для глаз другого). Старательное недопущение встречи глазами — это публичное заявление о том, что мы ничего особенного для себя не отмечаем, даже если случайно, нечаянно наш взгляд “скользнет” по другому человеку (в самом деле, нашему глазу позволено лишь “скользнуть”, но не останавливаться и тем более не сосредотачиваться, если собеседник не готов к этому). Вообще не смотреть невозможно. Улицы любого города всегда запружены людьми, и для того чтобы просто перейти “отсюда” “туда”, нужно, во избежание столкновения, внимательно смотреть впереди себя, на все, что движется или стоит на вашем пути. И хотя такое наблюдение неизбежно, оно должно быть ненавязчивым, не вызывающим беспокойства и настороженности у тех, на кого падает наш взгляд. Нужно смотреть, делая при этом вид, что вы не смотрите, — в этом суть общественного невнимания. Возьмем случаи из вашего повседневного опыта, когда вы заходите в переполненный магазин, проходите через зал ожидания на вокзале или просто идете по улице. Представьте себе все те мельчайшие движения, которые вы, не задумываясь, совершаете, чтобы благополучно пройти по тротуару или пересечь островки, разделяющие витрины в магазине или на выставке; подумайте, как мало лиц вы запомнили из бесконечной вереницы встретившихся вам людей, как мало из них вы можете описать. И вы поразитесь, насколько хорошо вы освоили это трудное искусство “невнимания” — восприятия чужих как безликого фона, на котором происходят значительные для вас события. Осмотрительное, старательно поддерживаемое невнимание, с каким чужаки относятся друг к другу, очевидно, имеет непреходящую ценность для выживания в городских условиях. Но его последствия менее привлекательны. Приезжего из деревни или из малого городка зачастую поражает то, что он расценивает как бессердечие и холодное безразличие большого города. Кажется, что людям ни до кого нет дела. Они быстро проходят мимо, не обращая внимания на других. Можно биться об заклад, что им точно так же не будет дела, даже если что-то ужасное произойдет с вами. Стена сдержанности, возможно, даже враждебности невидимо встает между вами и ними — стена, которую нет надежды преодолеть, дистанция, которую нет шансов сократить. Люди предельно близки физически, но духовно, умственно, морально им удается оставаться бесконечно далекими. Однако молчание, разделяющее их,

дистанцирование, которое они используют как хитроумное и необходимое средство, способное уберечь их от опасности, ощущаемой в присутствии чужаков, похоже на угрозу. Затерявшись в толпе, человек чувствует себя бессильным, незначительным, одиноким и незащищенным. Безопасность, предполагающая охрану частной жизни от вторжений, оборачивается *одиночеством*. Или, скорее, наоборот: одиночество есть плата за обособленность. Существование среди чужаков — это искусство, имеющее столь же двусмысленную ценность, как и сами чужаки.

С одной стороны, “универсальная отчужденность” большого города означает свободу от пагубного и досадного надзора и вмешательства других, которые в более узком и персонифицированном пространстве посчитали бы себя вправе любопытствовать и вмешиваться. Здесь можно оставаться в общественном месте, сохраняя в неприкосновенности свою обособленность. “Моральная неразличимость”, достигаемая благодаря всеобщему распространению общественного невнимания, предоставляет немыслимые при других обстоятельствах степени свободы. До тех пор, пока повсеместно соблюдается неписанный закон общественного невнимания, по городу можно перемещаться относительно беспрепятственно. Таким образом накапливаются впечатления — новые, захватывающие, интригующие. Городская среда - благодатная почва для интеллекта. Как заметил великий немецкий социолог Георг Зиммель, городская жизнь и абстрактное мышление созвучны и развиваются вместе: движение абстрактной мысли побуждается невероятным богатством опыта городской жизни, который невозможно охватить в его качественном многообразии, а способность оперировать общими понятиями и категориями — навык, без которого немыслимо выжить в городском окружении.

Это, так сказать, положительная сторона дела. Однако за нее приходится расплачиваться: никакая выгода не бывает без потерь. Вместе с обременительным любопытством со стороны других исчезают и их сочувствие, готовность помочь. В опьяняющей толчее городской жизни обнаруживается холодное человеческое безразличие. Социальные отношения по большей части ограничиваются обменом, который, как мы видели, оставляет его участников безразличными и безучастными друг к другу. Денежные отношения, оценка взаимных услуг исключительно в денежном эквиваленте тесно связаны с рассудочными, бесстрастными отношениями в городе.

В этом процессе утрачивается *этический* (моральный) аспект человеческих отношений и обретает реальность самый широкий спектр человеческих отношений, лишенных моральной значимости; правилом становится поведение, свободное от моральных оценок.

Моральными человеческие отношения можно назвать в том случае, если они возникают, рождаются из чувства ответственности за благосостояние и благополучие другого человека. Во-первых, моральную ответственность отличает незаинтересованность. Она не навязывается мне ни страхом наказания, ни подсчетами личной выгоды, не проистекает из обязательств подписанного мною договора, которые я по закону должен выполнять, или из моих предположений о том, что данное лицо может предложить мне нечто ценное взамен моих усилий, что Я делает его расположение “стоящим” для меня. Эта ответственность не зависит и от того, что делает другой человек, как и от того, что это за человек. Ответственность моральна, пока она полностью бескорыстна и безусловна: я несу ответственность за другого человека просто потому, что он есть и тем самым может рассчитывать на мою ответственность. Во-вторых, ответственность моральна постольку, поскольку я воспринимаю ее как мою и только мою ответственность; ее невозможно обсуждать или передать другому человеку. Я не могу уговорить себя отказаться от этой ответственности, и никакая сила на земле не может освободить меня от нее. Ответственность за другого, причем за любого другого, человека просто потому, что

это человек, и проистекающий из нее моральный порыв, заставляющий нас оказывать помощь и приходить на выручку, не требуют ни оправданий, ни подтверждений, ни легитимации.

Моральная близость в отличие от физической — простой и незамысловатой — основывается именно на такого рода ответственности. Но в ситуации “универсальной отчужденности” физическая близость “очищается” от морального аспекта. Это означает, что теперь люди могут жить и действовать вблизи, рядом друг с другом, влиять на жизненные условия и благосостояние друг друга, не испытывая при этом никакой *моральной* близости, оставаясь невосприимчивыми к моральному значению своих поступков. Практическим следствием подобной ситуации является то, что они могут воздерживаться от поступков, диктуемых моральной ответственностью, и предпринимать действия, ею не поощряемые или отвергаемые. Благодаря правилам общественного невнимания чужаков не воспринимают как врагов, и они, как правило, избегают участи врага — не становятся мишенью враждебности и агрессии. И все же подобно врагам чужаки (а это относится и к нам самим, поскольку все мы являемся частью “универсальной отчужденности”) лишены той защиты, которую может обеспечить только моральная близость. Лишь один маленький шаг отделяет общественное невнимание от морального безразличия, бессердечия и пренебрежения нуждами других.